

В. Леонович (Кострома)

Дочь Зевса и Деметры*
(О V выпуске альманаха «Костромская земля»)

**... Зло борется со злом –
добро же что-то потихоньку строит.**

Строчки покойного Александра Тихомирова не раз приходили мне на память при чтении V выпуска «Костромской земли». И не раз я прогонял еретическую мысль, что и вся история – это история борьбы зла со злом при неучастии добра.

Помнится (словаря нет под рукой), у Даля: «Гражданские подвиги темны и глухи»... И знаете, некое ободрение слышится тут: всегда было так, и замечание Даля опирается на это «всегда», и на том свет стоит – на этом тихом созидании, а притязания на огласку и пр. только отвлекают от дела.

Александр Александрович Григоров пишет Дмитрию Фёдоровичу Белорукову: предлагал материалы и сотрудничество колוגривским дамам, в ведении которых находился местный музей.

Они <...> как мне показалось, с негодованием отвергли всякую мысль о любом сотрудничестве между мною и ими.

Ну и пёс с ними! Я-то, во всяком случае, ничего от них не желаю и не жду, а, наоборот, сам хотел им предложить совершенно бескорыстно, ибо я все свои дела никак не связываю с какими-либо материальными интересами; хотел поделиться своими “богатствами”, а раз не хотят – то и не надо!

* Рецензия публикуется в сокращении. Полностью см.:
<http://www.costroma.ru/text/leonovich/leonovich.htm>. (Прим. ред.)

Если считать V наш выпуск единой книгой – а здесь десяток материалов, – то связующая их все и все их напругающая струна слышна в этих словах Григорова. Кологривские культурные дамы, очевидно, искали некую корысть в предложении маститого краеведа, а не найдя таковой, разгневались, послали ему официальную бумагу... **Ну и пёс с ними!** Ещё спасибо, что ответили старику.

Письма Григорова Белорукову с осени 1972-го по весну 73-го весьма значимы не только для Альманаха. Жаль, что нет ответов Дмитрия Фёдоровича и не вышло диалога на этих страницах. Но время тут «висит» как та памятная гарь несчастного лета пожаров – «великая сушь» в природе и в стране.

Гроза очевидная и безнадежно сухая

подходит и топчется, глухо ворча и перхая.

Без ветра, без ливня – гроза без лица и поступка.

Гроза без грозы – утомительная душегубка ...

Досадно, что нет письма от Белорукова, на которое следует ответ:

Да, я Вас понимаю – Ваше положение и как противно постоянно кривить душой и лицемерить! Но в такое время мы живём, все так к этому уже приспособились, какая-то двойная жизнь; одно дело на службе, где все лицемерят и кривят душой и постоянно лгут и самим себе, и другим, и другое дело – быть самим собою. Противно всё это!

Представляю Александра Александровича на костромских улицах... Увы, не мне быть его воображаемым собеседником, не мне видеть в грубых контурах монументальных сталинских зданий то, что глаз Александра Александровича привык видеть – просвечивающую там Всехсвятскую церковь, храм Бориса и Глеба... Сердце у меня замирало над страницами Успенского сборника, над подлинником Жития первых этих русских святых, убитых б р а т о м их.

И спустившись по Дебре от лгущего глазам и потому призрачного парка увеселений на месте Костромского кремля и поднимаясь по Борисоглебской горе, – как и что видел Григоров там, левее и выше, на месте, где венчались они с Марией Григорьевной?

«Какая-то двойная жизнь», – пишет Григоров. Какое-то двойное, тройное зрение. Оно будет мучить нынешних молодых, не совсем еще одуроченных к л и п а м и современной жизни, – зрелищем костромской Сквородки, то зеленеющей сквериком, то обезображенной лежащими вповалку дубами и вязами в полной их древесной силе. К т о дизайнер?

На свежем пне сидела старушка, пересыпая опилки из горсти в горсть...

Но я как-то отошёл от скудного собрания григоровских писем Белорукову. Вот примечательное место: лабиринты родословий, славных и совсем неизвестных, изобилие имён и анкетных данных в п р о к – тому, кому это будет нужно (тут вздох Григорова из глубины архивов: никому ничего не надо ...), – трудное вообще, это чтение дарит читателю иногда и отдых, и простор.

Ни единого упоминания о лагерях и тюрьмах, где побывали Григоровы, в этих письмах нет. И десяток лет ещё остаётся Александру Александровичу до августа 82 года – до пожара в Богоявленском соборе, где «хранился» областная многовековая архив. То был второй д о м для историка. Диво дивное, что он **пережил** это несчастие на 7 лет.

Вольно ли, нет ли, но «Из воспоминаний» Д.Ф. Белорукова претендует на художественную прозу. И местами белоруковские заметки к этому качеству приближаются. Особенно, когда автор воспроизводит живую парфеньевскую речь. (Влияние Максимова?..) Но положите рядом (они так и лежат) прозу Н.Ф. Чалеева – и проза Белорукова тускнеет.

Помню странички районной газеты, где из номера в номер эти воспоминания печатались – это **былое**, лишённое **дум** по условиям времени.

Дмитрий Фёдорович подарил мне несколько своих картин – я отдал их в Музей С.Н. Маркова и С.В. Максимова; среди них особенно выразительна была «Волчица» – одна, на снегу, в морозную лунную ночь. На другой, неоконченной, изображён был странник, высокорослый старик, опирающийся на посох.

**Посох мой, моя свобода,
Сердцевина бытия...**

Веяло печалью от этих вещей, особенно от первой, – едва ли не отчаянием.

Белорукову удалось избежать жребия, постигшего людей его класса – купцов, промышленников, уничтоженных «как класс» идиотической властью, сбившейся с доктрины. В армейской жизни своей, надо полагать, избежал он прямых столкновений с идиотами. Военный инженер, бравый офицер.

Усмешка судьбы: как знак победы над фашизмом именно Д.Ф. Белоруков взгромождаёт советский танк на постамент в освобождённой Праге. Как знак свободы. В 68-м году эти танки чешскую свободу раздавят.

На берегу Нее, на стрелке, где в неё впадает Чернушка (вовсе не «пересохшая», она и не пересохнет, а нырнет под землю, если безнадзорные вырубки оголят приречную зону), когда-то был винокуренный заводик Белоруковых, были картофельники, покосы, стоял двухэтажный дом. В 1917 году Дмитрию Фёдоровичу было 5 лет; он вспоминает, как страшно было входить в дом, уже опустелый, вспоминает купанье в Нее, сенокос, детские забавы, братьев и сестёр, матушку, няньку. Отец всегда был особняком, порою был редким гостем в собственном доме, дел о отца было, да и осталось, тайной – тогда для малолетнего сына, теперь для читателя. Механика разоренья, однако, так же интересна и поучительна для нас, как и заботы созиданья. **П о д н я т ь** домашнюю историю возникновения того заводика и его упадка то ли не захотел, то ли не отважился писатель. Нынешняя эпоха «реформ» – в двойных кавычках – в существе своем есть время разоренья хозяйства и наплевательства на труды отцов и дедов.

Несколько портретов приметных парфян – Русь уходящая – и живая речь, очищенная от «расцветки», восполняют недостатки газетной прозы, выводят её к другому качеству – по крайней мере, так бы хотелось.

*А гомон и шум в трактире не умолкают.
Подвыпившие мужики кое-где уже начинают куржиться и поругиваться. И ругаются не только мужики, но и бабы. Мат в языке парфеньевцев*

обычен, как этот смрад в трактире. Молодой мужик за столом, подвыпивший, с серыми злыми глазами, кричит соседу:

– Я тебе что говорил, паря, – не лезь к моей бабе. Небось думаешь, не знаю, что ты тут куролесил, когда я в Питер укатил. Знамо, брат, знамо мне, как по овинам вы хоронились. Морду ей, стерве, раскровянить!

– А ты больше, чёрт рыжий, по Питерам-то шлейся, – огрызается сидящая тут же жена. – Тоже мне, питерщик. Что ты принёс-то из Питера? Дурак непутёвый. Просила я батюшку: не отпускай ты Панку на сторону. Не послушал.

– Да что ты слушаешь бабу, ставь полштофа, – обращается муж к своему соседу-сопернику.

– Будя, будя, домой пора, – хватает жена мужа за руку.

Читаются эти страницы легко, некоторые видят свет впервые. Сцены есть и трогательные, и умилительные. Вместе с автором читатель и вздохнёт, и улыбнётся. Детские впечатления (судьба няньки, о. Михаил на могиле жены) передаются нам в их силе и свежести.

Тут уместно сказать вот о чём.

Как читателя меня избаловал предыдущий, IV выпуск Альманаха. Он рельефен, остр и ярко талантлив – талантливо скомпанован, талантливы авторы. «Костромская земля» там не только костромская. Материалы того выпуска просятся в хороший журнал, напоминают мне те жадно ожидаемые номера «Нового мира», что выпускал Твардовский. Где та жадность? Где журналы?..

Пятая книжка Альманаха – местность ровная, родной подзол. История тут местная, домашняя. Погоду делают материалы Белорукова и Колгушкина. Позволю себе сравнить природу, наблюдаемую фенологом, с природой, воссозданной, скажем, Тютчевым. Фиксацию – с проникновением. Фотокадр – с картиной.

«Воспоминания» Леонида Андреевича Колгушкина занимают добрую треть выпуска. Это медленный полет памяти над первыми впечатлениями жизни. *«Помнить*

себя я начал на четвёртом году». 75 минус 4 – итого 71 год подробной памяти... Вы бросили вёсла, уютно устроились на носу или на корме и погрузили взгляд в прозрачную озёрную воду. Слабый ветерок то чуть толкнёт, то развернёт лодку, то замрёт. Вы... да, **вы прекрасно заняты**: вы созерцаете светлое дно, его песчинки, его водяной свей, напоминающий сглаженные барханы. Для работы созерцания нет ничего лишнего. Зато, очнувшись к своим заботам, вы много-много лишнего усмотрите в регламенте вашего дня.

Таково впечатление от прозы Колгушкина, вполне «беззаконной», если считать законом прозы, искусства вообще, отделять лишнее от необходимого и лишнее убирать. Невольно автор ставит перед вами проблему: а что же есть лишнее, если всё оно личное, сугубо личное? И что же надо считать необходимым?

Мальчик по несколько раз «заходил в каретный сарай и конюшни, чтобы погладить мягкие губы лошадок».

Самая большая комната с окнами на улицу была названа залом. Там поставили мягкий диван, два кресла, шесть мягких стульев, обитых красивой материей с жёлтой, чёрной и красной расцветкой. Перед диваном был поставлен красивый овальный резной стол орехового дерева, который был покрыт тяжёлой шерстяной скатертью, а на неё поставлена большая 30-линейная лампа в металлической подставке под оксидированное серебро, с барельефами и матовым абажуром в виде тюльпана.

Очень мило...

Мило – это немало, однако. Дорог уют на фоне разоренья. Дорог дом, если ты оказался после него в казарме о 9 этажах.

А дом Колгушкиных и сейчас стоит на Ивановской, на нечётной стороне, там живёт его вдова Елена Ивановна Колгушкина, с соседями.

Примерным учеником был юный Колгушкин. Как трогательно его робость, как подробно внимание гимназиста в новой уже, не домашней жизни, в новенькой форме.

<...> обращение учительского и обслуживающего персонала было подчёркнуто вежливо. Нас, малышей, уже с первого класса называли на «ВЫ», а при обращении к ученику говорили: «Господин такой-то», называя только по фамилиям.

Читатель знакомится с преподавательским составом чуть ли не всей гимназии чуть ли не за 10 гимназических лет.

Учитель, перед именем твоим

Позволь смиренно преклонить колени...

Писать о документальной хронике Колгушкина можно бесконечно.

Я список кораблей дочёл до середины...

Страницы не хватит описать сервировку стола рождественского, стола пасхального в доме Колгушкиных; перечислить имена, лавки, товары, повадки костромских купцов, переписать имена друзей семьи, о каждом из которых буквально тиражеская память автора ведёт рассказ.

... И море, и Гомер – всё движется любовью, – ограничиваю этим «список кораблей».

Чтение этих мемуаров – на любителя. Но историк не пройдёт и мимо описания торжеств 1913 года, мимо отголосков Японской войны, мимо тыловой Костромы в начале I Мировой войны. «Вертикальный простор»: от молодой Волги, ломающей льды, – до нынешней, расплывшейся и вялотекущей, переставшей себя мыть. Страшная штука – привычка. Дитя, рождённое в камере, на волю не просится. Никакое расхудоженное описание ледохода не повергнет читателя в детский восторг, если родился он уже после заключения великой реки в плотины.

Очень симпатичная черта нашего бытописателя – отсутствие малейшей претензии на искусство (оно, однако, является само собой – при сердечном чтении). И никакого самолюбования – напротив...

Без претензии художественна проза Николая Феодосевича Чалева, народного артиста РСФСР. Очень жаль, что написано им мало, но и эта публикация – впечатления одного только деревенского лета – говорит о многом.

Перезванивались колокола сёл, и по росе заунывный плач меди прилетал издалека. Это – Углево, это пробасила Бартеневщина, это – тенорок с поймы. Из-за леса прислала свою весть Троица, а это – наше село проплакало о своём многовековом существовании.

Всё спит...

– И то, спать, – зевнул Алексей Иванович. – Заведёшь разговоры – до солнца хватит. Всех не переберёшь, а много разных людей на свете.

– Много, – согласился Петр Павлович, – как по нашему краснодеревному мастерству, скажем. Много всяких мебели. Работал я уже мастером в Москве у немца Шмита, так чего не делали: буль пузатую, амбир с желобками с бронзой, делали визавей, скажем, разговорную такую, вроде диванчиков, а то ещё была какая-то антука, чёрт его знает. Много разной мебели, всей не переберёшь.

– Спокойной ночи...

– Приятного сна...

Прозу Чалеева наполняют всё те же вечные русские разговоры и вздохи. Чеховские положения – но без чеховской безысходности. «Дух уныния» всё же борет великого писателя, озадачивая поколения режиссёров: где выход? Когда он есть, постановщику нечего делать.

И пусть у гробового входа

Младая будет жизнь играть...

А по Чехову так: да, играет она, но у гробового входа.

Минуя пустую оговорку о размерах талантов, с удовольствием отношу описание Чалеева к «пушкинской» стороне литературы, ибо к литературе даже этот фрагмент (есть ещё, пишет публикатор Чалеева) имеет прямое отношение, а наш Альманах – его равнину – он всхолмил.

Перечитывая Чалеева – уж взялся писать рецензию, так знай наизусть лучшие тексты! – не раз и не два, ловил себя на том, что не могу оторваться, а если отрываюсь, то вспоминаю Короленко, Тургенева, нашего Максимова, Бунина, безупречного во всём... Имею слабость к живой речи – терпеть не могу стилизации. «Если

я говорю языками ангельскими и человеческими, а любви не имею...» Вот она и стилизация.

О том, что Николая Чалеева так мало в литературе, остаётся только вздохнуть. Предпринимаю тут выписку, она большая, но уверяю вас: будет вам жаль, когда цитату оборву:

<Алексей Иванович, лесник, медвежатник>

Добрый он человек, повадливый, но и горяч порой.

Годов с пять тому назад, о Николе, приехали к нему московские гости на берлогу. Никак, две сразу откупили.

Стало быть, дня на четыре пожаловали. Разгулялись шибко, всю деревню споили с круга. Мужики пьяные орут песни, бабы, девки визжат, господа их пощупывают. Приехал с ними из Москвы какой-то барчук. Слышали потом – он в Москве жену свою пристрелил. Суды по этому делу шли и в газетах описывали. Только в то время он был ещё холостой. Не упомяну, как его звали. Приглянулась ему Александровна (жена Алексея Ивановича. – В.Л.). Она и теперь король-баба, а тогда была просто для взгляда вредная. Лицом белая, глаза с хмелинкой, волосищи под полушалок не уберёшь. Пазуха – как две копны, летом взглянешь – озноб берёт, зимой посмотришь – жаром охватывает. Перехват, как столбушка, круглый. Идёт – боками играет. Пышная, ядрёная. Ну, барчонок и осоловел, пялит на неё зенки, да и полно. Подвыпивши осмелел, подкатываться стал. А Александровна женщина строгая, ко своему Алексею Ивановичу приверженная. Никому поиграть не даст. Одно слово – твердыня. Раз по рукам его – хлоп, другой – хлоп. Неймётся, лезет куда ни попадя.

Я в ту зиму у Ваньки столярничал, строился он. Ну, я разные шкапы ему и прочие антуки под орех работал. При мне это и было. Пришёл посмотреть, как московские гости гуляют. Залез на полати и гляжу оттуда. Вижу, мой Иванович плечами поводит, не нравится, стало быть, что его бабу похватывают. Александровна зачем-то по хозяйству

в сени, барчук за ней туда же. Погляжу, и Иваныч – шашть из избы, и я за ними. Что, мол, будет. В самый раз попал. Барчук только что Анисью в охапку и грудь ей цапает, а Иваныч тут как тут. Сгрёб его левой рукой за воротничок, подвёл к двери на крылечко, открыл её, да правой как махнёт молодчика по башке, тот кувырк, кувырк турманом с лестницы, и что ни было народу на ступеньках – вышли посидеть, подышать морозцем из избы, – вместе с ним кувырк, кувырк. Пока на дворе куча разбиралась, кто где, Алексей Иванович сверху:

– Милости просим к столу, а то не застудились бы как на морозе. Лександровна, – кричит в дом, – принимай гостей, угощай чем бог послал...

Н.Ф Чалеев-Костромской, артист Малого театра – читать бы ему со сцены эту живую прозу. В ней и печаль спрятана: супругам этим, этому цвету жизни, нё дал бог детей...

Верен себе Николай Александрович Зонтиков, добросовестно исследовавший все, какие есть, гипотезы происхождения имени **К о с т р о м а**. Пока читаешь его публикации, чувствуешь себя то за школьной партией, то на студенческой скамье, рука по привычке тянется законспектировать выкладки учёного.

Кто за честь природы фехтовальщик?

– Пламенный Ламарк! – восклицает Мандельштам, словно предвидя, как рептильная биология будет «свергать» мировые авторитеты. Пламенно защищает родную старину Николай Зонтиков. Читателя он, извините, в д у м ы в а е т, погружает в самое существо проблемы – тут проблемы имён. И давно бы пора землякам погрузиться и вдуматься, да поди ж ты – всё недосуг. Воинствующие – вооружённые и очень опасные – невежды разгулялись по Волге особенно лихо. Тверь, Рыбинск, Романово-Борисоглебск, Нижний Новгород, Симбирск, Самару, Царицын перекрестили ничтоже с м у т и ш а с я.

... Нет от материала Зонтикова я никуда не ушёл. Позабытые слова, но г р а ж д а н с к о й д о б л е с т ь ю

веет от всех его работ, что мне приходилось читать. Для таких людей «прошлого» нет – есть единое время родной истории. Ну, и наконец:

Кострома почиталась древними славянами как богиня плодородия и подземного царства мёртвых.

– Знай наших! – так и хочется крикнуть. Да это наша Персефона, и отвечать ей и за живых, и за мёртвых. Вот тебе и «лесной языческий божок»... Дочь Деметры и самого Зевса!

В один из дней «макушки лета» наши предки устраивали ей торжественные «похороны», в конце которых её соломенное чучело растрёпывали и топили в воде <...>. Вскоре происходили похороны Ярилы, отправлявшегося в подземное царство Кащея Бессмертного за похищенной Костромой <...>. И только весной Ярила и Кострома возвращались на землю <...>.

Н.А. Зонтикову принадлежит и публикация «По-статейной росписи Костромского кремля 1678 года». Подлинник сгорел в пожаре областного архива в 1982 году, но Григоров успел снять копию, а Зонтиков со вкусом переписывает официальные отчёты костромских попечителей и охранителей, отрадно далёких от нынешних бюрократов. Там – правда и простота, человеческий язык, хозяйские наблюдения над состоянием башен, мостов, прясел и рвов Кремля:

Башня проезжая воротная, слывёт Водяная о четырёх стенах с проезжими воротами, шириною башня пять сажен без четверти, вверх от земли до зубцов и с обломом восемь сажен без четверти, шатёр и караульный чердак в прошлом 179 году сломаны ветром.

У той башни мост к реке Волге, длина моста шесть сажен, поперёк две сажени с четвертью. А внешняя вода того моста понимает до половины и от чего мост рушится. Да под тем же мостом труба спускная для воды, засыпалась землёй.

А у той воротной водяной башни до средней башни на обрубе прясла двадцать восемь сажен с

четвертью. Обруб под той башней сгнил и земля из под стены сыплется и башня и стена к Волге пошатнулась.

Приведён чертёж – план – Кремля, воссозданный С.С. Смирновым по описанию: башни проезжие и глухие, церкви, соборы, Здвиженский монастырь внутри Кремля.

К материалам Н.А. Зонтикова, «территориально» отделённым воспоминаниями Л.А. Колгушкина от «Храмозданных надписей XVI - XVII веков Костромы и края», – исследование А.Г. Авдеева – сии последние примыкают. Это памятные надписи, кои читать мы разучились, но кои бывают вмонтированы в храмовые стены и дополняют их декор.

Да и умей мы читать свою кириллицу, нам уже никак не прочесть надписи на белокаменной плите Богоявленской церкви, превращённой в алтарь собора. Исследователь приходит нам на помощь:

1564/1565 г. «В дни благочестиваго и Благовенчаннаго Царя и Великаго Князя Ивана Васильевича всяя Руси по благословению Макария митрополита всяя Руси и во дни царевичей Ивана и Феодора лета 7067 месяца априлия в 23 день зложена бысть сия церковь святаго Богоявления игуменом Исаиею яже о Христе с братъею».

Пространна надпись на столпе над правым клиросом Воскресенской церкви на Дебре. Попутно А.Г. Авдеев касается предания о том, как началась постройка.

Костромской купец Кирилл Исаков среди товаров из Англии нашёл бочонок с золотом, английский купец бочонка не взял, не сказал, чьё золото, и посоветовал Исакову употребить находку на святое дело. Остаётся нам гадать, какова тайна этой благотворительности, и сожалеть, что не знаем имени того купца.

Неизвестным осталось имя храмоздателя церкви Преображения Господня за Волгой – надпись на каменной плите на наружной стене алтаря. Имя было, но разобрать его не удалось. (В 60 - 70-е годы с Муравьёвки отчётливо видима была дощатая пристройка к алтарю заволжского храма, надо думать – сортир).

1688 г. «<...> а совершена бысть сия церковь Божия в 196 (1688. – В.Л.) году генваря в 29 день. А строил сию церковь Божию по своей вере и по обещанию тяжь церкви прихожанин <...> с приходскими людьми ради своего душевнаго спасения и на вечный поминок».

Неохваченными остаются два рабочих материала и один юбилейный. Первый – вашего покорного слуги – рецензия-статья о IV Выпуске. Рецензировать собственную рецензию – дело весёлое... Я как-то упустил из виду благое пожелание тем, кто занят монументальной про- и контрпропагандой. Поставили бы вы, отцы наши, скромный памятник отважному псу Бобке, спасавшему детей. Объявили бы конкурс – то-то вдохновенье озарило бы наших скульпторов! А есть талантливые тут люди...

Вместо этого помогли вы сойти с коня, что в Москве на Советской площади, князю Юрию Долгорукому, и каков он сидел там – точь-в-точь таков и сел в скверике (на месте двух храмов «на площадке») у нас. На Советской же площади.

Я не люблю в её надменной ложности

Фигуру Долгорукова на лошади. (Евтушенко).

Да, надменно, да, ложно – как было, так и осталось.

Материал И.Х. Тлиф занимает две - три странички – строгий, точный, ответственный и благодарный, – память о «Почётном гражданине и кавалере Иване Васильевиче Маянском». Он замечательно представляет и красит костромское купечество.

«Имея с давнего времени усердие выстроить на собственный счёт дом призрения бедных <...> для помещения в нём от 20 до 30 человек <...> покорнейше прошу о дозволении выстройки дома сделать надлежащее распоряжение <...>».

Так пишет 70-летний купец, от одних дел отошедший и затевающий другие. Попечительный о бедных Комитет выстройку разрешает. Ещё раньше Маянский, 40-летний купец, купчина в силе, строит храм Рожде-

ства Христова в селе Прискокове. Освящён храм в 1838 году. На фото 1997 года... Но вы уже догадались, как он выглядит. Родился Маянский в 1797 году. Хорошо, что через двести ровно годов он уже не видит святого дела рук своих...

Что тут скажешь? Стыд, как и совесть, категория опасная. Благо нам, что не о в л а д е в а е т он масса-ми, как цунами – азиатской Ривьерой. И то – благо...

Осталось и мне присоединиться к похвальному Слову Антонины Васильевны Соловьёвой о Юрии Владимировиче Лебедеве. Да не обидится никто, если я – ради улыбки – вспомню тут, как на Пушкинском празднике Ираклий Андроников представлял очередного оратора, Сергея Михалкова. Перечисляя регалии, звания, должности и деяния Героя, Андроников постепенно уничтожал его, но тому и невдомёк было – напротив... Дорогой Юрий Владимирович, белой завистью завидую Вашему пути, делам, любви, окружающей Вас, Вашей буферной миссии меж властными невеждами и простыми интеллигентами. Вы прекрасно продолжаете на Ваших путях Дело Игоря Дедкова, которое и я на своём хотел продолжить. Мы – костромичи, нам и карты в руки.

Пользуюсь случаем заронить в Ваш компьютер заботу о т р е т ь е й книге Дедкова. Объяснения следуют. Шапкой-по-кругу уж Вас-то я не обойду.

А что до перечня званий и забот Ваших, напомнивших мне Андроникова, так это я из озорства. Помните:

**Приходите ко мне, гости, я индюшку заколю,
ты не плачь, моя индюшка, я нарочно говорю.**

Как видно, V Выпуск располагает читателя-рецензента ко всякой всячине. Буду рад, если другого читателя расположит он к чему-то другому. Но наши читатели обычно помалкивают, это костромская такая особенность. Ни тебе письмаца, ни звоночка! Ни одного даже доноса! А ведь оказаться его, доноса, объектом – всё же большая честь.

Притупились что ли перья?

Погодите, прогресс подвигается...